

Научная статья

УДК 82

doi: 10.17223/19986645/79/13

«Самодостраивающийся сверхсюжет» о поэте-пророке в русской поэзии XIX–XX вв.

Татьяна Владимировна Обласова¹

¹ Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия,
tatianaoblasowa@yandex.ru

Аннотация. С опорой на идеи С. Бочарова о наличии в пространстве русской литературы «самодостраивающихся сюжетов» рассматривается ряд стихотворений XIX–XX вв., диалогически связанных через заголовки, мотивы, образы как компоненты одного из таких сюжетов. Интертекстуальный анализ позволяет обнаружить в русской лирике «сверхсюжет» о судьбе поэта-пророка, воспроизводящий этапы духовных исканий творческого субъекта, обусловленные самосознанием и миропониманием человека различных историко-культурных эпох.

Ключевые слова: «самодостраивающийся сверхсюжет», Пророк, миссия поэта, путь самопознания творческого субъекта

Для цитирования: Обласова Т.В. «Самодостраивающийся сверхсюжет» о поэте-пророке в русской поэзии XIX–XX вв. // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2022. № 79. С. 262–273. doi: 10.17223/19986645/79/13

Original article

doi: 10.17223/19986645/79/13

The “self-building plot” about the poet-prophet in Russian lyric poetry of the 19th and 20th centuries

Tatyana V. Oblasova¹

¹ University of Tyumen, Tyumen, Russian Federation, tatianaoblasowa@yandex.ru

Abstract. Based on the ideas of S.G. Bocharov about the presence of “self-adapting mainstream super-plots”, formed as a result of contacts between works and developing in the field of entire literature in the space of Russian literature, the article proves the possibility of considering a number of Russian lyric poetry works, from Gavrila Derzhavin’s “God” (1784) to Timur Kibirov’s poem “A Pale Youth Coming Out to Print” (1998), as compositional and semantic parts of one of such superplots. The author studied texts dialogically connected through titles, common motifs and images (and above all the image of a poet, who somehow self-identifies in relation to the mission “poet-Prophet”), and focused on reflections on the fate and purpose of the poet and poetry. The intertextual analysis of such texts shows that, for more than 200 years, a special plot “self-aligned” in Russian lyric poetry – a basically dramatic path

of a poet losing his mission, which is a consistent separation from the Creator, people and art as the meanings and goals of his high service. In the course of the analysis, the author has established that it is possible to interpret “what is happening” in Derzhavin’s ode, Pushkin’s, Lermontov’s, Nekrasov’s “The Prophet”, in Bryusov’s poem “A Pale Youth With a Burning Gaze”, then in “The Prophet” by V. Kazantsev, and, finally, in Kibirov’s “A Pale Youth Coming Out to Print” as plot events, compositionally correlated with the exposition, setting, and course of action, the climax and denouement of a single super-plot, unfolding chronologically logically from the point of view of both artistic reality and the historical and cultural context. The author of the article reveals a feature of this super-plot: on the one hand, it is the ideological-figurative “attachment” of the first four in the above-mentioned series of poems to the Biblical texts, and, on the other hand, the explicit going beyond the Sacred history in the 20th century, as a result of which the universal biblical plot is somewhat “finished”. Using the method of structural analysis of poems, the author identifies general constructs which connect texts both with each other and with a universal plot: two planes of space – earthly and another – with the possibility of their meeting at the lyrical subject’s or the described actor’s location and interdimensional movements; established or recalled contact with a transcendental entity; the inevitability of sacrifice; self-determination in relation to the mission of the Prophet. The general conclusion is drawn about the dramatic nature of the unfolding path of the poet-Prophet, which also manifests itself at the level of pathos: a change in intonation from odic at the beginning to ironic in the final text, which signifies the collapse of the very idea of poetry serving to anything and the impossibility for poetry to acquire meaning beyond itself.

Keywords: “self-building plot”, Prophet, mission of poet, way of creative subject’s self-determination

For citation: Oblassova, T.V. (2022) The “self-building plot” about the poet-prophet in Russian lyric poetry of the 19th and 20th centuries. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 79. pp. 262–273. (In Russian). doi: 10.17223/19986645/79/13

Анализ ряда стихотворений, диалогически связанных через образ поэта-пророка, позволяет обнаружить их отнесенность к такому явлению, которое С.Г. Бочаров назвал «самодостраивающимися магистральными сверхсюжетами», образующимися в результате контактов произведений, иногда предусмотренных, иногда не предусмотренных их авторами и «развивающимися в поле целой литературы», представляемом как метапроизведение [1. С. 8]. Очевидно, значение, в котором С. Бочаровым используется понятие «сверхсюжет», несколько выходит за рамки представления о нем как универсальном сюжете, устойчивой фольклорно-мифологической событийной схеме, берущей начало в мифе и/или ритуале и облекаемой в конкретно-исторические и конкретно-бытовые формы в том или ином произведении. И в этом случае сверхсюжет являет себя, по определению В.М. Марковича, как «возникающий в повествовании о героях «символический подтекст», перерастающий эмпирическое содержание образов и сюжета, но в то же время неразрывно связанный с этим содержанием, в конечном счете расширяющий и углубляющий универсальный сюжет» [2. С. 21]. Существенными признаками «самодостраивающегося сверхсюжета» является не только наличие в нем некоторых инвариантных компонентов, соотнесенных с тем

или иным универсальным сюжетом, но и его принципиальная композиционная «рассредоточенность» – реализация в нескольких текстах, принадлежащих разным авторам. При этом тексты представляют собой не воспроизведение и индивидуально-авторское осмысление одной универсальной схемы, но обнаруживают преемственность сюжетно-событийного ряда, обеспечивающую движение сюжета, порождающего новую «сверхидею», носителем которой становится образовавшийся «в результате контактов» некоторого числа произведений «сверх-текст».

И несколько стихотворений в русской лирике, а именно «Бог» Г.Р. Державина, «Пророк» А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, Вас. Казанцева, «Юному поэту» В. Брюсова и «Юноша бледный, в печать выходящий...» Т. Кибирова, принадлежащие различным историко-культурным и историко-литературным периодам, связанные на уровне заголовков, хронотопа, лирического субъекта, событийного ряда, на наш взгляд, могут быть рассмотрены как компоненты одного из таких «самодостраивающихся сверхсюжетов». Сюжет этот – драматичный в своей основе путь утраты поэтом его миссии, последовательного отъединения от Творца, людей и искусства как смысла и цели его высокого служения. Разворачивающийся в русской лирике на протяжении двухсот лет сверхсюжет по сути своей воспроизводит этапы духовных исканий творческого субъекта и в некотором роде «кристаллизует» ключевые вехи на пути самопознания литературой ее сущности и назначения, обусловленные сменой историко-культурных эпох. Особенность данного сверхсюжета состоит в том, что, будучи «прикрепленным» четырьмя первыми в названном ряду стихотворениями XIX в. как образно-художественными вариантами к Библейским текстам, в XX в. он именно «дописывается», выходя за пределы Священной истории.

Несмотря на то, что линейка Пророков в русской лирике номинативно начинается с «Пророка» А.С. Пушкина, есть основания возвести начало данного «самодостраивающегося сверхсюжета» к державинской оде «Бог». Именно в ней заявлены основные параметры ситуации, т.е. те самые инвариантные компоненты, которые будут воспроизводиться или «вспоминаться» в общих чертах при последующих «сюжетных» поворотах.

Во-первых, это общение с трансцендентным: лирический субъект вступает с Богом в некоторые отношения. У Г.Р. Державина, единственного в данном ряду, это непосредственный диалог с Богом, что номинируется через местоимения второго лица «ты», «тебя», «твое», а также прямое обращение «Отец». В последующих стихотворениях контакт опосредуется: например, сначала явлением Серафима и только затем обращением Бога с «заданием» («Бога глас ко мне возвал») у А.С. Пушкина. У М.Ю. Лермонтова сам факт общения не представлен, есть воспоминание о нем: «Когда Всевышний судия мне дал всеведение пророка» и «любви и правды чистые ученья». Некрасовского пророка послал к людям «Бог гнева и печали». У Вас. Казанцева – «прокатился гром в пустыне». Передаваемые «заветы» у В. Брюсова ассоциативно отсылают к «Новому завету». Наконец, у

Т. Кибирова трансцендентная сущность исчезает совершенно и передаются уже не заветы, а даются советы – совершенно человеческая, даже бытовая реальность, никак не связанная с Богом, однако само отрицание возможно только с учетом предшествующего литературного контекста размышлений о пророческом даре: «Ты не пророк».

Во-вторых, межпространственное перемещение лирического субъекта: «летаю всегда парнем в высоты» и «телом в прахе истлеваю», как у Державина; из/в пустыни у Пушкина, Лермонтова и Вас. Казанцева, противопоставленные другим местам – городу («из городов бежал я нищий» у Лермонтова), морям и землям («и обходя моря и земли») у Пушкина; у Т. Кибирова «юноша бледный» тоже «выходит» – в «печать», которая через глагольную форму «выходящий» ассоциативно подключает «выходящего в печать юношу бледного» к контексту всех «выходов» лирических субъектов, саморефлексируемых как субъект-поэт: «в пустыне мрачной я влачился», «выхожу один я на дорогу» и др.

В-третьих, наличие мотива жертвы, неизбежной гибели, смерти, изгнания, физического или нравственного страдания: «...телом в прахе истлеваю... чтоб чрез смерть я возвратился, Отец, в бессмертие твое» (Державин); «Грудь рассек мечом...», «Как труп в пустыне я лежал...» и т.д. (Пушкин); «Из городов бежал я нищий...», «бросали бешено камень...» (Лермонтов); «Час придет – он будет на кресте...» (Некрасов); «Молча паду я бойцом побежденным...» (Брюсов); «Лежу – подкошенный – во прахе...» (Вас. Казанцев); «юноша бледный» (Т. Кибиров).

И наконец, каждый из лирических субъектов так или иначе связан с осмыслением миссии поэта. У Державина миссия заключается в прославлении Бога как подателя жизни и создателя вселенной и устремленности к нему как воплощению высокого: «Как им к тебе лишь возвышаться, / В безмерной разности теряться / И благодарны слезы лить». Пушкинское – «глаголом жги сердца людей»; лермонтовский пророк осознал миссию как «провозглашение любви и правды чистые учения», пророк у Некрасова послан «раба земли напомнить о Христе». Идея выполнения неких заветов звучит и у Брюсова: «Ныне даю я тебе три завета». В стихотворении Вас. Казанцева отказ от миссии, от дара: «угль, пылающий огнем... возьми его обратно...». И необходимость осознания отсутствия миссии у Т. Кибирова: «...ты не пророк-заруби себе это».

Данные компоненты во всех названных стихотворениях составляют сюжетную схему, «сверхсюжет» в приведенном выше значении, сформулированном В.М. Марковичем, поверх которого каждым поэтом создается не просто новый текст как вариация на тему с индивидуально-авторским ее осмыслением, а текст, продвигающий «общий» сюжет, превращая его тем самым в «самодостраивающийся сверхсюжет». И при этом у каждого из названных стихотворений в данном сверхсюжете обнаруживается определенное композиционно-смысловое место.

Началом, своеобразной экспозицией представляется ода «Бог» Г.Р. Державина, в которой очевидна идейная и образная соотнесенность с

Первой книгой Моисеевой, фактически поэтическое переложение главы 1 «Бытия»: Хаоса бытность довременну / Из бездн ты вечности воззвал (В начале сотворил Бог небо и землю); Ты свет, откуда свет истек (и сказал Бог: да будет свет, и стал свет); Создавый все единым словом (и **сказал** Бог: да будет свет, и **стал** свет; да будет твердь, да соберется вода... и **стало** так; да произрастит земля зелень – и **стало** так и т.д.); Светил возженных миллионы / В неизмеримости текут (и сказал Бог: да будут светила на тверди небесной). Ода являет доконфликтное состояние мира, пронизанное верой лирического субъекта в благость мира и Творца, четкое и радостное осознание своего места в великом замысле. Первоначальный тезис о ничтожестве человека перед Богом («А я перед тобой – ничто») снимается размышлением о том, что осознание человеком своего существования есть утверждение бытия Бога, поскольку Бог проявляет себя в человеке: «Но ты во мне сияешь / Величеством твоих доброт; / Во мне себя изображаешь, / Как солнце в малой капле вод». Ощущение себя частицей вселенной дает твердые основания для самоопределения человека как «средоточия живущих», «связи миров» и «твари премудрости создателя».

Этим особым положением в мире и объясняется возможность прямого обращения к Богу без посредников и предшествующих перевоплощений, диалог с ним, поскольку его наличие неоспоримо, доказуемо всем устройством бытия, где жизнь и смерть осознаются в рамках целесообразности мудрого замысла («твоей то правде нужно было»). При этом и сердце и ум в равной степени причастны к знанию: «Гласит мое мне **сердце** то, / Меня мой **разум** уверяет...». Важно, что осознание себя причастным Богу (одновременно и прямое – «я бог», и «твое создание я, создатель», и «ты во мне сияешь»), ведет и к обладанию творящим словом, принадлежащим Богу («Создавый все единым словом...») – в связи с чем сама ода есть своеобразный акт утверждения бытия Божия, следовательно, лирический субъект тоже наделен словом утверждающим, близким творящему слову Бога. Таким образом, державинская ода – в прямом смысле и в соответствии с заглавием – о Боге – познаваемом, постижимом, открытом для познания в зримых явлениях мира как предмете поэтического (и шире – человеческого) служения – «славословить должно», славословие, однако мыслится не в прямом значении, а как акты устремления к Богу («ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться») и выражения благодарности («и благодарны слезы лить»).

Хронологические следующие три текста – о Пророках (1826, 1841, 1864 гг.) – меняют интенцию миссии поэта: теоцентрически ориентированное слово державинского лирического субъекта как результат бескорыстного творческого порыва сознания, потрясенного величием мира, перенаправляется на мир людей и утверждается «получение» поэтом богоданного задания по отношению к ним. Благостное первородное состояние мира и ощущение человека при ниспослании его на землю (ассоциативно восстанавливаемое из контекста главы 3 Книги бытия – изгнание / выселение из рая) очевидным образом утрачиваются лирическим субъектом.

Пушкинский, лермонтовский, некрасовский Пророки соотносимы с ветхозаветными пророками – и поэтические тексты выглядят как поэтические переложения ветхозаветных историй о Пророках и о слове направленно-убеждающем.

Именно пушкинский «Пророк» представляет собой завязочный эпизод, меняющий экспозиционную картину. И здесь важна соотнесенность текста стихотворения с ветхозаветной историей главы 6 библейской книги пророка Исаии, которая служит источником и самого события, и отчасти образности в пушкинском тексте: явление шестикрылого Серафима, горящий уголь с жертвенника, сущностно изменяющий грешного человека, и голос Господа, посылающего с миссией: «...пойди и скажи этому народу...» [З. С. 679]. Но важны и те трансформации библейского текста, которые произведены в «Пророке». В исходном библейском тексте узрение Господа происходит немотивированно и воспринято оно драматично, поскольку незаконно: «...горе мне! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа». Незаконность «узрения Бога» грешным человеком, собственно, снимается действиями одного из Серафимов, принесшего горящий уголь с жертвенника и прикосновением к устам удалившего беззаконие и очистившего грех. В пушкинском же тексте за счет своеобразной детализации и физиологизации манипуляций, в отличие от воспринимаемого эмоционально и физически как индифферентное библейского «коснулся уст моих углем», расширяется и усиливается «болевая» составляющая преобразования физического тела: Серафим **вырвал** грешный **язык**, **грудь рассек** мечом, при этом десница, вкладывающая жало мудрой змеи – **кровавая** (окровавленная). У пушкинского Пророка трансформации подвергаются не только «грешные уста», но все важные органы, сопряженные с духовной работой: зрение, слух, язык, сердце. Как бы пропущенный вопрос Господа, обращенный не к кому-то конкретно («кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?»), в ответ на который субъект библейского текста вызывается: «И я сказал: вот я, пошли меня», и переход сразу к призыву («Бога глас ко мне воззвал») в пушкинском тексте снимает элемент случайности и некоторого самозванства и акцентирует избранность Пророка, получившего свой дар в ответ на «духовную жажду», неудовлетворенность бессмысленным земным существованием («влачением в пустыне»). Меняется причинно-следственная связь, заданная библейским текстом: Исаия сначала увидел Бога и Серафимов, очевидно, испугался («и сказал я: горе мне! погиб я!») и в ответ на его возглас прилетает Серафим и очищает его уста, чтобы он мог говорить о Боге. Пушкинский же Пророк томится «влачением в пустыне», и Серафим является ему не для очищения, не для освобождения его от греховности, а для открытия ему мироздания: «отверзлись вещи зеницы», «внял неба содроганье» и «горний ангелов полет». И сама миссия выглядит эмоционально более заряженной и трудной: вместо библейского «пойди и скажи» – пушкинское «глаголом жги сердца людей», т.е. не просто сообщи нечто, но воспламени / убеди / пробуди.

В соотношении с державинским текстом очевидно сюжетное продвижение: явленное в «Бог» исполненное веры и благодарности существование лирического субъекта почему-то оказалось нарушенным и теперь Бог не открывается ему. Непосредственно явленное, распаханное мироздание, с которым лирический субъект державинского «Бога» вступает в прямое соприкосновение и беседует с Творцом, ощущая себя «частицей целой вселенной, поставленной в середине естества», в пушкинском «Пророке» обнаруживает границу, преодоление которой требует от лирического субъекта принятия страдания и принятия особого дара как миссии через посредника. Переход опосредуется сначала Серафимом, производящим действия, умертвляющие грешную плоть (помним, что у Державина плоть и дух существовали как будто одновременно, во всяком случае грамматически это представлено именно так: «Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю»). И уже затем лирический субъект оказывается способным услышать Бога глас, призывающий его глаголом жечь сердца людей: таким образом, Бог осознается не в непосредственном созерцании мира или умозрительно, а через миссию, порученную поэту. Меняется назначение поэта, содержание и смысл его слова: с благодарного славословия самому Творцу, со слова благодного и радостного, утверждающего искреннюю веру, граничащую со знанием, на слово тревожащее, жгущее. Собственно, это наказ – речью воспламенять сердца, видимо, для этого сам Пророк и был наделен «углем, пылающим огнем» вместо сердца. При этом важно и то, что когда открылись глаза и уши Пророка, то он обрел прежде всего способность «внимать» и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье, т.е. скрытую жизнь вверху, в глубине и на самой земле, сам ток жизни целого мироздания. Эта способность видеть и внимать миру задана и как призыв – «восстань, и виждь, и внемли», таким образом, преобразование человека в Пророка предусматривается прежде всего как акт познавательный – открытие скрытых свойств жизни.

Хронологически следующий «Пророк» М.Ю. Лермонтова является фактически содержательным продолжением пушкинского стихотворения в контексте той же главы 6 Книги Пророка Исаии. В пушкинском тексте умалчивается о знании Пророком невыполнимости миссии: ветхозаветный Исаия предупрежден, что слова людям об их слепоте и глухоте будут не приняты и люди обречены на погибель, «...ибо **огрубело сердце народа сего**, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и **не уразумеют сердцем**, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 11 И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. 12 И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле» [3. С. 684]. Создается впечатление, что эта часть сюжета Книги пророка Исаии и восстановлена в стихотворении М.Ю. Лермонтова. Таким образом, отход от миссии (надо заметить, что, с точки зрения Книги Пророка Исаии, миссия в принципе выполнена – он пришел и сказал людям о Боге) и побег лермонтовского Пророка в пустыню, но не

безгласную, не мрачную, а внемлющую и приемлющую его, в соотношении с библейским сюжетом вполне закономерен и оправдан: «Мне тварь покорна там земная, / И звезды слушают меня, / Лучами радостно играя».

И наконец, третий поэтический текст о судьбе Пророка – некрасовский – образно соотносится уже не с ветхозаветным текстом, а с текстом Нового Завета через лексический ряд: распятие, крест, смерть для других, знание собственной судьбы и сознательный выбор этой судьбы, служение добру, напомнить о Христе. Важно, что уже не слову принадлежит убеждающая сила (бессилие пророческого слова означено как факт в стихотворении Лермонтова) – напоминание должно быть действенным: «час придет – он будет на кресте» – напоминание о судьбе и правде Христа, чтобы быть услышанным, очевидно, требует большей жертвы. Пророческая миссия передается тому, кто готов пожертвовать собой – «умереть для других». Безусловно, такой взгляд на Пророка озабочен в целом идейными движениями эпохи делания, действия, поступка, в которую поэзия как слово о прекрасном мире оказалась неуместной. Собственно, роль поэзии как пророческого слова отринута: она больше не нужна, поскольку озабочен некрасовский Пророк «рабами земли» и напоминанием им не о Боге, а о Христе, т.е. о любви к человеку и его жертве во имя этой любви, а не Творцу и сотворенному им миру. Таким образом, можно зафиксировать переакцентировку смысла и цели жизни на служение земному и человеческому.

Хронологически следующие три стихотворения: «Юному поэту» В. Брюсова (1896), «Пророк» Вас. Казанцева (1970), «Юноша бледный, в печать выходящий...» Т. Кибирова (1998) – это своеобразные три акта отречения поэзии от причастности пророческому слову, то самое трехкратное отречение Петра, которое было предсказано Христом.

На роль Пророка в стихотворении В. Брюсова может претендовать не юный поэт, к которому обращено послание, а лирический субъект, поскольку он является носителем и субъектом передачи заветов – «ныне даю я тебе три завета». Семантика же слова «завет» в русской культуре имеет очевидную религиозную отнесенность, что позволяет трактовать «заветы», данные «юноше бледному, со взором горящим», как новые правила взаимоотношений Бога и поэта, некогда наделенного самим же Богом словом пророческим, словом о Боге: новая установка формулирует разъединение миссии пророка и поэта, поэзии и любви к людям, провозглашая служение искусству выше служения человечеству (никому **не** сочувствуй) и актуальному – злободневному (**не** живи настоящим), своеобразное извлечение-исключение из поэтического слова пророческого содержания. При этом провозглашение поклонения искусству как сфере подлинного служения обнаруживает явное противоречие с заповедью – не сотвори себе кумира, поскольку как раз и предполагает замещение божества искусством, что и позволяет говорить о лирическом субъекте Брюсова как о скорее своего рода отступнике от первоначальной миссии и, более того – воинствующем отступнике: «молча паду я бойцом побежденным / Зная, что в мире оставил поэта».

Акт отречения продолжается и, пожалуй, завершается в двухчастном стихотворении Вас. Казанцева «Пророк» (1969, 1970 гг.), по драматизму и эмоциональному напряжению, на наш взгляд, претендующему на то, чтобы занять место кульминационного момента «самодостраивающегося сверхсюжета». Поэт-пророк дерзнул обратиться не с духовным вопрошанием к Богу, а с отказом от дара, оказавшегося слишком тяжелым бременем: «И плащ, и посох в тягость мне... / Но горше, тягостней стократно – / Угль негасимый в глубине / Он – жжёт... Возьми его обратно!» Действия в стихотворении выстраиваются обратно тому, что происходило в пушкинском тексте: «И он мне грудь мечом **рассе́к**» – обратность действий отражена на уровне порядка слов: в пушкинском тексте «И он мне грудь **рассек** мечом». После рассечения мечом в пушкинском тексте следует целая серия действий – сердце трепетное вынул и угль, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Глас Бога у Пушкина есть призыв от смерти к новой жизни: «Как труп в пустыне я лежал, и Бога глас ко мне воззвал». В тексте Казанцева после рассечения груди следует голос, воспринимаемый как «гром в пустыне», объявляющий об окончании пророческой миссии и страданий, с нею связанных: «Забудь свою печаль. Отныне / Ты – не пророк, но человек». Следующее за этим преобразование мира в «мертвую пустыню, безглагольную» так же обратно преобразению в пушкинском тексте. Возникает переключка с одой Державина: «...лежу, подкошенный во прахе» («я телом в прахе истлеваю»), но с очевидным отсутствием второй составляющей – «умом громам повелеваю» и без возможности «паренья в высоты». Собственно, отсутствие этого выхода в иное бытие, сопряженное с присутствием Бога, оказывается губительным: «Хотел шагнуть я. И... упал / Лежу – подкошенный – **во прахе**. / В груди – зияет след меча / Незаживающею раной. / **Песок** – светла и горяча – / Кровь красит струйкою багряной». Решившись на отказ от полученного дара, поэт-Пророк проявил своеволие, а значит, гордыню человека, полагающего, что он может распоряжаться своей судьбой и своим даром, о чем, собственно, получил предупреждение в первом из двух стихотворений, объединенных общим заголовком «Пророк»: «Ты не сочти из простоты, / Мгновенною гордыней болен, / Что волен слышать голос ты / И голоса не слышать волен».

Закономерной развязкой данного сверхсюжета выглядит стихотворение Т. Кибирова «Юноша бледный, в печать выходящий». Интертекстуально соотнесенное со стихотворением В. Брюсова «Юноша бледный со взором горящим», оно вступает с ним в полемику, отрицая не только данные в нем «новейшие» заветы юному поэту, но и переоценивая в целом всю предшествующую традицию восприятия поэта как пророка. Отрицающая формулировка дана в подчеркнуто сниженной разговорной манере: «...ты не пророк – заруби себе это!» Поклонение искусству, названное у Брюсова единственно достойным («поклоняйся искусству, только ему...»), у Кибирова оценивается как «вовсе последнее дело». И «юноша бледный», связанный у Брюсова через «взором горящим» с образным рядом пушкинского Пророка – «угль, пылающий огнем», «глаголом жги», также снижен и прямым

отрицанием «ты не пророк», и направлением своего движения – «в печать выходящий» (а не в «естественную» для Пророков «пустыню»). Таким образом, текст Кибирова прочитывается как манифест отхода и от пророческого в литературе, и от литературного вообще, отказ и от теоцентризма, и от искусствоведения (литературоцентризма) как смыслоорганизующих начал жизни, и от богоданности миссии поэта. В этом контексте значение слова «настоящее» («живи настоящим») иное, чем у Брюсова, заявившего «не живи настоящим»: в брюсовском стихотворении «настоящее» дано в антонимической паре с «грядущим» и поэтому прочитывается как «сегодняшнее». В стихотворении Т. Кибирова в сочетании с отрицанием «И поклоняться Искусству не надо» настоящее может прочитываться как жизненное, подлинное, не искусственное.

Итак, в совокупности названные выше стихотворения очевидным образом соединяются в самодостраивающийся внутренне развивающийся сюжет о судьбе поэта, который вполне может рассматриваться как саморефлексия литературы о собственном месте и назначении. Сюжет этот, собственно о том, как поэт, изначально приобщенный к Божественному началу мира, постепенно утрачивает связь с первоисточником, разочаровывается в предназначении и фактически не осуществляется как Пророк сначала для людей, а затем и для самого себя, отказываясь от в сущности невыполнимой миссии. Для державинского поэта славословие Бога было порывом вследствие естественного восхищения перед чудом и величием бытия, красота и гармония которого не оставляли сомнения в наличии мудрого грандиозного замысла, исполненного любви к человеку и всему сотворенному, что само по себе являлось доказательством бытия Божьего. Собственно, в этом отразилось сознание человека эпохи классицизма, «мира неизменных, четких критериев и оценок, твердых представлений о добре и зле, пороке и добродетели, истине и лжи...», человека, жившего «в строго упорядоченном мире, ясно сознавая свое место в нем» [4. С. 4]. Очевидно, это сознание было во многом унаследовано от древнерусского искусства, пронизанного, по определению Д.С. Лихачева, чувством «значительности происходящего, значительности всего временного, значительности истории человеческого бытия...» и памятью «о мире в целом как огромном единстве, ощущением своего места в этом мире» [5. С. 10]. «Большой мир и малый, Вселенная и человек! Все взаимосвязано, все значительно, все напоминает человеку о смысле его существования, о величии мира и значительности в нем судьбы человека... Человек ощущал себя в большом мире ничтожной частицей и все же участником мировой истории. В этом мире все значительно, полно сокровенного смысла... Ощущение значительности и величия мира лежало в основе литературы» [5. С. 11]. Именно это восприятие мира отражено в оде Г.Р. Державина «Бог».

Но поэту XIX в. ненаправленное славословие Бога как подателя жизни оказалось недостаточным, он обратил взор и Слово свое на человечество, появилась потребность воздействовать на людей, искать новый смысл жизни. У Державина же лирический субъект «несытым некаким» летал

«пареньем в высоты» – ни о каком «влачении в пустыне» речи не могло быть: ответы находились в «чине природы», «в разуме», «в сердце», в собственной душе («тебя душа моя быть чаёт», «гласит мне сердце», «разум уверяет» – «Ты есть – и я уж не ничто!»). Порыв к служению, к деянию – глаголом, провозглашением любви и правды чистых учений, собственной гибелью – явился, вероятно, как один из ответов на вопрос, которые В.Я. Линков называет главным для XIX в., – это «вопрос о ценности жизни, ее оправдании», как путь избавления от «томления» и реализацией «стремления к обладанию ценностями, придающими смысл жизни» [4. С. 5]. Три Пророка XIX в. знаменуют переживания человека, пытающегося обрести смысл жизни в служении людям, добру, правде: искренняя вера в возможность такого служения у Пророка пушкинского, разочарование – у Лермонтова, согласие на жертву во имя любви к людям, смирение перед неизбежностью гибели, принятие ее части миссии – у Некрасова.

Однако на рубеже XIX–XX вв. поэт все же отворачивается от служения людям, пытается искать новый предмет поклонения, и в качестве такового выбирается искусство, что согласуется с общими исканиями порубежной эпохи, снова разочарованной и снова обращенной от земного и сиюминутного к вечному и незыблемому.

Тем не менее и этот объект направленного служения оказался временным. И в 1970 г. лирический субъект очередного «Пророка» (Вас. Казанцева) признается в непосильности бремени как такового, нестерпимости самого внутреннего огня: «...горше, тягостней стократно / Угль негасимый в глубине. / Он – жжет». И уже Казанцевым окончательно зафиксирована смерть поэта – Пророка: «...упал / Лежу – подкошенный – **во прахе**», истекая кровью. После этого и появляется поэт – как «юноша бледный, в печать выходящий», не имеющий оснований даже помыслить себя в качестве Пророка.

Можно проследить, как от начала к концу меняется интонация поэтического сверткеста – с одической на ироническую, проходя через пафос жизнеутверждения (у Пушкина), порожденного радостью обретения человеческим телом и духом новых свойств, открывающих мироздание как одухотворенное, обретением веры в возможность подчинения жизни исполнению свыше назначенной миссии как ее смысла; через разочарование (у Лермонтова) и утрату веры в исполнимость миссии; через пафос утверждения подвига и жертвенности (у Некрасова) как высших форм жизни; через открытие возможности служения искусству и, наконец, к отчаянию и краху самой идеи служения, за которым – почти бытовое признание безмиссийности поэтического творчества у Т. Кибирова.

Движение свертсюжета о поэте-пророке в свернутом виде воспроизводит духовные искания и путь самопознания творческого субъекта на протяжении двух столетий русской литературы. Русская поэзия как бы порождает летопись собственной судьбы, написанную очевидцами в различные эпохи ее бытования и учитывавшими опыт предшественников (за исключением, пожалуй, Пророков Пушкина и Лермонтова, ассоциативная при-

вязка которых к одному библейскому тексту позволяет рассматривать их как две последовательные стадии одного события). И к настоящему времени сюжет утраты самоопределения поэта как пророка выглядит вполне завершенным.

Список источников

1. Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. 632 с.
2. Мелетинский Е. О литературных архетипах. М., 1994. 136 с.
3. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового завета. Канонические. Перепечатано с Синодального издания. М., 1991. 925 с.
4. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях : учеб. пособие. 2-е изд. М., 2008. 192 с.
5. Лихачев Д.С. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. СПб., 2016. 476 с.

References

1. Bocharov, S.G. (1999) *Syuzhety russkoy literatury* [Plots of Russian Literature]. Moscow: Yazyki russkoi kultury.
2. Meletinskiy, E. (1994) *O literaturnykh arkhetyпах* [On Literary Archetypes]. Moscow: Russian State University for the Humanities.
3. *The Bible*. (1991) Moscow: Bibleyskiye komissii “Dukhovnoye prosveshcheniye”. (Reprinted from the Synodal edition). (In Russian).
4. Linkov, V.Ya. (2008) *Istoriya russkoy literatury XIX veka v ideyakh* [History of Russian Literature of the 19th Century in Ideas]. 2nd ed. Moscow: Lomonosov Moscow State University.
5. Likhachev, D.S. (2016) *Velikoe nasledie: Klassicheskie proizvedeniya literatury Drevney Rusi* [The Great Heritage: Classical works of literature of Ancient Russia]. Saint Petersburg: Logos.

Информация об авторе:

Обласова Т.В. – д-р пед. наук, канд. филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (Тюмень, Россия). E-mail: tatianaoblasowa@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

T.V. Oblasova, Dr. Sci. (Pedagogics), Cand. Sci. (Philology), professor, University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation). E-mail: tatianaoblasowa@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 24.11.2021;
одобрена после рецензирования 07.07.2022; принята к публикации 22.09.2022.*

*The article was submitted 24.11.2021;
approved after reviewing 07.07.2022; accepted for publication 22.09.2022.*